

Сказки Бугролесья

Волна и Прутик



Decoctum

Decoctum
Сказки Бугролесья.
Волна и Прутик

*http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=48780716
ISBN 9785005085436*

Аннотация

Девятилетний Фёдор оказывается в центре таинственных и драматических событий. Единственная надежда мальчишки на деревенского старца-травника Телемоныча... Смогут ли старик и ребёнок противостоять неведомой безжалостной волне, рождённой в глубинах Вселенной? Сумеют ли отыскать причину космического «сбоя», изменить ход событий? И кто поможет им в этом?

Содержание

Часть первая	5
1	6
2	15
3	20
4	32
5	43
6	52
7	61
Конец ознакомительного фрагмента.	63

Сказки Бугролесья

Волна и Прутик

Decoctum

Иллюстратор Decoctum

Редактор Psoj_i_Sysoj

© Decoctum, 2019

© Decoctum, иллюстрации, 2019

ISBN 978-5-0050-8543-6

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Часть первая

ФЁДОР ЛИХОХОД

1

Стояло позднее утро. Солнышко давно уже выкатилось из-за Тёплых Бугров и теперь висело высоко над Великим Мхом. За эти несколько часов деревянный тёс крыши успел хорошенько прогреться, и лежать на нём было тепло и уютно, как коту Жмыху зимой на печи. И так же, как Жмыха, клонило в сон.

Фёдор нехотя повозился, переложил голову на другую руку. Дивья¹ ему тут на пологой крыше под ласковыми лучами нежиться. Да вот что люди скажут?..

Дом деда Телемоныча притулился на самом краю деревни – выше других по течению и чуть спрятавшись за поворот Жур-реки, на невысоком, поросшем рябиной и берёзой пригорке. Почти на отшибе.

И всё-таки увидеть здесь Фёдора могли. Нехорошо если начнутся шуточные пересуды, что он бока на крыше пролёживает. Да в такую пору. Но старая коза Вострая была спозаранку накормлена и привязана в огороде за домом, а Жмых усвистал куда-то ещё вчера и до сих пор не показывал носа.

Фёдор вздохнул. Если честно, ему стоило пойти к тётке Прасковье, помочь по хозяйству справляться: у тётушки хлопот невпроворот, скоро сеять начнут. Только идти никаких

¹ Дивья (Арх., Влг. обл., поморск.) – хорошо, приятно, легко, удобно.

сил не было. Не мог Фёдор ничего делать, пока дед Телемоныч не вернётся! Даже спать ночью как следует не мог. А когда старик появится?

Со всей округи слетались к Фёдору на крышу разногласные весёлые звуки: свистели-переговаривались птицы; глухо, по причине разлива, бурлили за поворотом реки Звонкие Перекаты; где-то оттягивали молотками и точили лемеха; где-то, деловито и несильно постукивая, чинили телегу; хлопали палками вытащенные на просушку под молодое весеннее солнышко перины, подушки и одеяла. С другого конца деревни, от кузницы, певуче звенели на наковальне будущие подковы...

Весна в этот год запозднилась, но бурно и быстро навёрстывала упущенное.

Снег сошёл за несколько дней и практически весь. Тёплые Бугры уже по-летнему просохли, зазеленели травкой и молодым мхом. Лишь на Тёмных Буграх, в низинах, ещё лежал снег.

Тронулся по оттаявшим корням, гулко запел в берёзовых стволах сок. Солнечной сыпью мать-и-мачехи покрылись пригорки.

Жур вздулась, потемнела и разом вынесла лёд. Затем разлилась впятеро от своей обычной ширины и подтопила ближайшие к реке бани. Пришлось мужикам искать старые вожжи и вязать бани к накрепко вбитым кольям – не ровён час,

уплывут.

Огромный Великий Мох, как губка, впитывая всё, что струилось и текло в его сторону, посерел, потом пожелтел, растапливая последний снег, набух – надулся, словно великанская жаба, и стал совершенно непроходим. Так же непроходима и опасна стала дорога до города.

А от уездного городка до Клешемы дорога тянется вёрст шестьдесят. Точно никто не мерил, да и промерить при всём желании было бы трудно: петляет дорога страшно, а местами имеет свойство менять своё русло – один год справа этот пригорок обойдет, другой – слева. То вздумает сократить себя через болотный мыс, а то и по боровинке, в обход, лишнюю версту накрутит. Лишь к гатям через топкие хляби выходит она неизменно и строго: тут баловать себе дорожке – ни одна телега канула с концами в мутной жиже вместе со всем скарбом.

И тянется эта дорога на пять шестых своей протяжённости местами тёмными и сырыми. Чернолесье дремучее – еловник, ивняк да мелкорослый осинник. Те ещё пейзажи. Поэтому до самой Клешемы не встретишь осёдлого жилья: лишь изредка, возле небольших болотных озёр или лесных ручьёв ютятся невзрачные избышки – то ли охотничьи, то ли путникам уставшим отдых и временный кров.

Но зимой у нас – любая дорога вдвое короче: стянет, скрепит Мороз Иваныч болота, укатают лихие почтовые сани

путь скорый и нетрудный. А вот весной и осенью добраться до Клешемы возможности нет никакой.

В общем, ездить в Клешему не любили до чёртиков, если только по нужде большой или долгу службы. Изматывал глухой таёжный тракт и людей, и лошадей. А пешком – далеко: не попрёшь на себе в эдакую даль ни груз, ни товар. Да и двумя днями в один конец не всегда обернёшься... Трудная дорога.

Но когда за спиной оставалась большая часть пути, когда, исчерпав весь запас выражений, прилагавшихся к бесчисленным загибам и колдобинам, изнурённый возница уже и не чаял облегчения своим мукам – выползала разбитая колея на сухие беломошные боровины: лес редел и светлел, стройные жёлтые сосны тянулись высоко вверх, весело шумели кронами. Колея превращалась в широкий, плотно укатанный песчаный большак, почти сразу рассыпавшийся множеством рукавов. Так хорошо и удобно было двигаться по этим местам, что отпадала всякая потребность в какой-либо дороге. Вот каждый и выбирал, обрадев от вдруг свалившейся свободы, свой собственный маршрут между золотистых стволов, придерживаясь, правда, общего курса.

А до Клешемы оставалось ещё добрых десять верст. И хотя почти незаметно – путь лежал в гору. Но дышалось в сосновом бору легко и свободно, гулким эхом катилось бряканье и скрип телег, подъём был отлогий, а справа и слева, за кронами деревьев, медленно вырастали в синей дымке да-

лёкие угоры, такие же сосновые и беломошные – это началось Бугролесье.

Ещё через час неспешного хода местность несколько менялась. Множество дорог и дорожек снова стекались в одну, далёкие угоры прятались за поднявшимися с обеих сторон обрывистыми песчаными склонами, по верхней кромке которых бурно росла брусника, а над ней, по-прежнему, шумел сосняк. Дорога, зажатая склонами, всё круче забирала вверх, пока, неожиданно, почти вдруг, они не разбегались в стороны покатыми гребнями, и путнику открывалась широченная даль.

От распахнувшегося простора невольно перехватывало дыхание: вокруг нависало близкое, бездонно-безбрежное небо, а под ним от края и до края горизонта, насколько хватало глаз, раскидывалось сине-зелёное полотно тайги.

Называлось это место Седло.

От Седла дорога ныряла вниз и, постепенно теряясь из виду, полого и неспешно разматывалась светло-жёлтой лентой среди зелени сосновых крон.

Вдали, вёрст через пять к югу, лесной ковёр редел и переходил в болото: бескрайнее, сухое и светлое, богатое морошкой и клюквой, тут и там изрезанное перелесками, в которых вольготно рос черничник. Называлось оно Великий Мох. Было это болото приветливым, плодородным и каким-то домашним. Говорили, правда, что где-то далеко в глубине Ве-

ликого Мха есть топкие и опасные места. Но зыбких трясин тех – наперечёт, и таились они Бог весть где. Тянулся Великий Мох на многие вёрсты вдаль и вправо, к западу.

Левее Великого Мха величественными плавными волнами застыли Тёплые Бугры: звонкая сосновая тайга синезелёными сопками простиралась на восток, ускользя в неведомые дали, таяла на границе окоёма в трепетном сизом мареве.

Правее лежали Бугры Тёмные. Были они ниже и влажнее Тёплых: сосновый лес здесь перемешивался с еловым, становился гуще, извилисто текли неширокие реки, и блестели голубыми глазами таёжные озёра. А далеко на западе обрывались Тёмные Бугры крутым склоном в Серое Море.

По Седлу, и дальше – по Тёплым Буграм – проходил водораздел.

Множество родников и ручьёв журчало в дымчатой глубине Тёплых Бугров. Серебряными нитями вились они в сторону Великого Мха и неблизкого моря, переплетались, крепились и превращались в Жур-реку. В верхах быстротечная и мелкая ниже по течению Жур постепенно набирала силу: спокойно и глубоко несла прозрачную воду, грозно шумела на каменистых перекатах, привольно раскинувшись в устье, впадала в Море.

С версту от Седла по сторонам от дороги начинают попадаться покосы, чаще мелькают берёзы и заросли кустарника, а в тишине, прислушавшись, можно уловить, как где-то

негромко и размеренно речёт-воркочет Жур.

До Клешемы – рукой подать.

Ещё через версту дорога прерывает свой пологий спуск к югу, выравнивается и, повернув влево, идёт дальше среди заметно поредевших сосен на восток. Вскоре лес расступается окончательно, и перед путником широко раскидываются холмистые поля – когда-то отвоёванные у тайги топорами и огнём просторы. Испокон растили на них рожь и лён, ячмень и овёс, огораживали заколами выпасы для скота.

Отсюда уже хорошо видны деревянные Клешемские церкви. По древнему обычаю было их две: многоярусная и многоглавая, увенчанная одной большой и четырьмя малыми луковками, окольцованная высокой крытой галереей с широким двухвходным крыльцом – тёплая Зимняя Церковь; а рядом – высоченная шатровая – Летняя. Тут же возвышалась отдельно стоявшая шатровая Колокольня. Располагалась вся эта величественная красота на высоком голом холме – Светлой Горке, за которой темнел склон леса. И хотя высота и размеры церквей, когда подойдёшь к ним вплотную, поражали и вызывали неподдельное уважение к зодчим, отсюда, издалека, они казались лёгкими, тонкими, всеми линиями своих куполов устремлёнными в небеса.

Жур-река огибала Светлую Горку с восточной стороны, бурлила по Звонким Перекатам и уже спокойно уходила долгой поймой на запад.

Здесь, на пологом склоне между Светлой Горкой и Жур-

рекой, как раз и стояла деревня Клешема.

Фёдор опять пошевелился, приоткрыл левый глаз. Весной славно – комарья нет ещё, лежи себе на солнышке. По коньку крыши к нему прыгал воробей. Важный барин, серьёзный. Хотя и суетливый. Фёдор поднял голову, чуть двинулся вверх по скату, упираясь босыми ступнями в тёс, поудобнее устроил руки на коньке и, опустив на них подбородок, стал смотреть на деревню.

Хорошая деревня Клешема. Ладная, красивая. С крыши дома деда Телемоныча, просматривалась она до самой кузницы.

Тремя рядами вдоль Жур-реки стояли крепкие и большие деревянные дома. Почти все в два этажа: с горницей, летней и зимней избой и обязательной хозяйственной пристройкой с тылу – поветью, на которую со двора ведёт широкий и высокий бревенчатый взвоз. На повети, под одной крышей с домом, и сеновал, и хранилище для различного имущества, а в нижней части – хлев для домашней живности.

Жил народ в Клешеме, положим, и не очень богато, но дружно и строился основательно. Всем миром ставили новый дом молодым, всем миром чинили и поднимали иххудавшее жильё старикам. Благо лес на Тёплых Буграх был дельный, сам так и просился в сруб, а руки у клешемских мужиков – ловкие и спорые: венцы ложились плотно, надёжно. Строить умели – вязали накрепко, да ещё так, что каж-

дый дом непременно чем-то отличался от остальных. Хватало у строителей смекалки и задора дать каждому дому своё лицо, подчеркнуть характер его хозяев.

А потом уже украшали свои жилища кто во что горазд – с любовью и выдумкой. Коньки задорные, наличники резные, крылечки узорчатые, птицы-звери, солнышки красные – чего только не было. У кого-то хитрая трёхслойная резьба – и хозяин с шуткой да прибауткой живёт. У кого-то наоборот, узор строгий и выверенный, как раскинувшиеся вокруг просторы: тут и человек спокойный и чуткий.

Хорошая деревня, как родная.

За три последних года узнал и полюбил Фёдор в Клешеме всё: каждый дом, каждую баню, амбары, риги и повети, мельницу, поля и покосы, Жур-реку, окрестные леса и, конечно, церкви.

И людей местных полюбил Фёдор. Всех.

А вот что было до Клешемы, где и как они жили, пока не оказались здесь – Фёдор не помнил.

Да и не каждый человек сможет отчётливо упомнить более трети своей жизни.

Но у Фёдора Ивановича Ходова, неполных девяти лет отроду, имелись на то и другие невесёлые причины.

2

Появилась семья Ходовых в Клешее три года назад. Молодые ещё мать с отцом и трое детей: старший одиннадцатилетний Семён, дочь Дарья девяти лет и Фёдор. Фёдору тогда только-только исполнилось шесть годиков.

Раньше жили Ходовы много южнее, в соседней губернии. Но не заладилось у них житиё-бытиё на прежнем месте. Хотя хозяйство вели исправно, двух коров держали, лошадь, овец. Отец и плотничал, и прочими ремёслами промышлял в межсезонье. В общем, не бедствовали.

Но однажды нашла коса на камень: невзлюбил отца приказчик тамошнего помещика, а за что – сейчас и не узнаешь. Стал этот «добрый» человек на отца приспешников и лизоблюдов своих науськивать. Стал сплетни-небылицы и слухи грязные о Ходовых распускать, перед властями порочить. Хотел челядинец барский сломить Ивана Ходова, хотел, чтобы пришёл Иван к нему в ножки кланяться, милости просить. Однако был отец у Фёдора мужиком скромным, но твёрдым. Голову держал высоко, достоинство человеческое помнил.

Тогда и закончилась у Ходовых спокойная жизнь: покосил кто-то всходы на их уделе, отравили одну из двух бурёнок-кормилиц, а Семёну и Даше местные пострелята совсем проходу давать не стали. Такой уж там народец обитал, жил

с оглядкой на богатеев и начальствующих.

Не выдержал отец Фёдора, ударил в сердцах шапкой о землю: «Готовьтесь дети, пожитки собирайте. Поедем отсюда в Клешему! Там у матери вашей бабка двоюродная живёт».

Дом и скотину продали, увязали немудрёное своё имущество в узлы и отправились на телеге в неблизкий и трудный путь.

Всё это Фёдор знал из рассказов старших. В памяти с тех пор осталось только, что овчина пыльная, высунув из которой свой маленький нос, он наблюдал, как проплывали мимо их телеги однообразные пейзажи, сёла, деревни.

Уехали Ходовы по весне. Промытарились всё показавшееся бесконечным лето. Но, одолев путевые невзгоды, проделав добрую тысячу вёрст, измученные, осунувшиеся, пропитанные дорожной пылью и насквозь пропахшие дымом костров, добрались до Клешемы. Успели-таки до большой распуты и первых морозов.

Оказалось, что бабка двоюродная, Анастасия Фёдоровна, почилa той весной, вечная ей память. Однако дети её, внуки и правнуки поживают в Клешеме во здравии и трудах праведных. А разве народ вольный да православный допустит пропадать, пусть и неблизкой, но, всё-таки, родной, кровинушке?!

Вот с этого момента и появлялись в памяти Фёдора проблески, вспыхивали картины и целые куски событий, а начиная с Рождества сверкала память прозрачной, незамутнённой.

ной водой...

Когда впервые въезжали в Клешему, уже стемнело, и Фёдор с сестрой Дашкой-дурашкой спали-сопели в телеге, укрытые старым зипуном. За столько дней и ночей пути они сроднились со своей телегой, уютным и единственно безопасным казалось им их место на старой овчине. Они так привыкли засыпать под мерный ход Сивки и скрип расшатавшихся колёс, что казалось – нет в мире лучшей колыбели. А любая остановка служила сигналом: «Проснись, подними голову – скоро Семён разведёт жаркий костёр, мама будет готовить обед, а тебе можно побегать вокруг, или даже сходить с отцом на ближайшее озеро искупаться, поудить рыбу».

Но в этот раз сигнал прозвучал далёким эхом: слишком сырая и зябкая темнота висела за бортом их телеги, за бортом их бесстрашного корабля. Дрёма словно мёдом смазала ресницы, и было в ней так сладко, что раскрыть глаза не оставалось никаких сил. Телега встала. Сквозь сон, краем сознания, Фёдор зацепил неразборчивые голоса родных и ещё чьи-то, незнакомые. Почувствовал, как Даша зашевелилась, высунула голову наружу, но почти сразу нырнула обратно. Голоса удалились, а Фёдор лишь вздохнул, плотнее притянул к животу колени и опять очутился в плену-полоне сладкой дремоты.

Вскоре чужие крепкие руки осторожно, но решительно вытянули его под холодную изморось, закутали, понесли.

С той стороны, из промозглой реальности, долетел озабоченный полушёпот: «Эка, малец – умаялся вконец». Однако, глаза никак не хотели открываться – безразличие и тяжёлая усталость навалились на душу, на веки, на всё хрупкое тельце.

И всё же проснуться пришлось. От влажного жара и почти забытого банного духа, аромата распаренных берёзовых листьев, маслянистого запаха можжевельника. Отец тормошил Фёдора за плечо:

– Просыпайся Федька-медведька, мыться-париться. Приехали!

Фёдор разлепил ресницы, осоловело глянул вокруг: какой хороший, всё-таки, нынче сон снится. И только после того, как Семён плеснул ему в лицо холодной воды из ковша, осмысленно и весело заблестели его глаза: «Ур-р-р-а-а-а! Приехали!»

Так долго и с таким наслаждением мылся Фёдор первый и, наверное, последний раз. Ух, как хорош пар, как здорово жжёт липучий берёзовый веник! А какая вода! Самая-самая лучшая, волшебная, святая!

А потом, одетый в чистую рубаху, едва не скрипя отдраенной кожей и снова начиная клевать носом, пил травяной чай с вкуснейшим мёдом. За большим столом в тёплой и просторной горнице было много незнакомых, но уже ставших родными людей...

А вон там и отец... И Семён рядом, счастливый и улыб-

чивый... И мама с Дашкой...

И покой взял Фёдора в громадные мягкие ладони. И снова привычно покачивает и трясёт, везёт сквозь время и пространство... Но это уже не их телега, а весь этот большой, надёжный дом вместе с мамой, отцом, Семёном и Дашей, со всеми этими незнакомыми, но добрыми людьми плывёт по бескрайним просторам... И уже не трясёт вовсе, а плавно баюкает на волнах неведомого Бугролесья неширокая волшебная река Жур...

3

От разлива Жур-реки потянуло холодком, а перед глазами Фёдора вместо раздолья Клешемы почему-то оказалась выбеленная дождями, в прожилках волокон доска крыши. Уснул. Хорошо вниз не съехал.

Фёдор сел, протёр глаза, но легче не стало – всё равно кло-нило в сон. Прошлёпав босыми ногами вдоль конька, Фёдор вышел на площадку возле голубятни. Голубей в Клешеме никто не держал, но к этому сооружению над поветью деда Телемоныча другое название подобрать было сложно. Небольшая будка на крыше. Дверь заперта непонятным макаром, окна наглухо прикрыты ставнями. Зачем она тут? Впрочем, насколько помнят клешемские старики, красовалась она тут всегда. И хотя возраст самого деда Телемоныча корнями терялся во тьме ушедших поколений, дом наверняка был ещё старше. Станным в голубятне казалось и то, что она заперта. В Клешеме замков не водилось вовсе. Запоры имелись – чтоб на ночь запирать избу изнутри. А так, поставят палку или метлу поперёк дверей – хозяев нет. И никто не войдёт.



От голубятни вниз, на крыльцо, протянулись довольно удобные сходи с перилами. Перегнувшись через перила где-то на половине спуска, Фёдор выглянул за угол дома. В огороде коза Вострая, мелко помахивая хвостом, пыталась отыскать редкую ещё травку. Дом у деда Телемоныча был в один этаж: горница, зимняя половина и небольшая поветь. Живности, кроме Вострой да кота Жмыха, старик не держал. Зато на грядках летом помимо положенных морковок-укропов зеленело пахучее разнотравье. Да и в избе повсюду свисали и торчали пучки сухих трав.

Время, между тем, близилось к полудню, и в животе у Фёдора недовольно заворчали голодные волки. Вспомнил оставленную на столе в горнице краюху ржаного хлеба и пол крынки молока в печи. Молоко оказалось ещё тёплым со вчерашнего вечера и не прокисшим. Фёдор забрался на широкую лавку возле окошка и, запивая молоком, при-

нялся жевать хлеб (жёлтую, толстую и чуть подсохшую молочную корку он съел первым делом).

Дед Телемоныч ушёл третьего дня. В общем-то, не велик срок, чтобы начинать всерьёз беспокоиться: случилось старик пропал в тайге и много дольше. И всё-таки...

В груди у Фёдора ёжиком каталось нетерпение, а кроме нетерпения проклянулся и начинал оживать прежний упрямый прутик. Фёдор знал, что дня через два этот прутик окрепнет, подрастёт, и тогда, если дед Телемоныч не появится сам, Фёдор достанет свои сыромятные бахилы, спросит у тётки Прасковьи что-нибудь пожевать в дорогу и уйдёт на поиски. И никто не сможет его остановить. И не станет. Но пока прутик в груди едва наметился. И хотелось спать.

Фёдор задумчиво почесал затылок, покосился на большой, потемневший от времени строгий образ в «красном» углу, повернулся и быстро перекрестился: «Спасе Святой, помилуй мя, грешнаго». Вздохнул и полез на печь.

Две последние ночи Фёдор долго не мог заснуть. Ворочался на печи с боку на бок, сопел и возился с постелью, которая будто нарочно становилась жаркой и неудобной. И только под самое утро, когда измятая, сто раз перевёрнутая подушка наконец-то удобно укладывалась под щекой, часа на два проваливался он в душевное забытьё.

Зацепили ожидание и тревога, накатывала непрошенными и неотвязными приливами память...

...Первая осень в Клешее: смесь знакомых и новых запахов; влажный, тревожно дышавший под крылом чёрного ночного ветра, лес; густо пестревшие жёлто-красными пятнами осинника и березняка Тёмные Бугры; сбитые в плотные тяжёлые гроздья крупные бусины алой рябины; первые опавшие листья, лёгкими разноцветными лодочками отправившиеся в неведомое безвозвратное плавание по Жур-реке.

Тихая, пронзительная и неизъяснимая осень лежала окрест. Прозрачным и печальным стал мир, такими же прозрачными, с тихой грустью, сквозившей в глубине глаз, казались люди.

Но осенняя печаль была перемешана с радостью доброго урожая и весёлыми хлопотами по сбору грибов и ягод, с ожиданием близкого уже зимнего отдыха после шумного, пыльного и многодельного лета. Ходовы первый раз видели такое количество лесных ягод и грибов. Двухведёрными корзинами и заплечными кузовами несли жители Клешемы с Великого Мха и ближнего леса дары природы: бруснику, клюкву, грибы. Сушили по амбарам вымолоченную рожь. А бабы начинали трепать лён, чтобы долгой зимой сплести из тонких волокон нити и соткать их в полотна.

Мужики поочерёдно уходили малыми артелями вниз по Жур-реке к большим порогам: там поднималась в верха на осенний нерест краснорыбица сёмга.

После чистых дней бабьего лета зарядили монотонные до-

жди, затянуло небо серой мешковиной. А на Покров, как и положено, выпал первый снег. Через день он растаял, но земля так уже и не отогрелась: стянуло тонким ледком лужи, застыли раскисшие дороги.

Лето кончилось, а впереди ждала северная зима. Поэтому, посоветовавшись, решили, что до весны Ходовы проживут раздельно, по родственникам. После Рождества заготовят и вывезут с Тёплых Бугров лес для ремонта, а по весне наладят один из пустующих домов – какой больше по душе придётся. На ту пору стояли в Клешеме две нежилых избы: престарелые хозяева померли, их дети разлетелись в поисках лучшей доли по городам и весям, а без присмотра и жильцов дома быстро обветшали и покосились крышами.

Отца и Семёна определили к дяде Кириллу Афанасьевичу – у него попросторней, да и сам хозяин дома зимой не сидит, большей частью в тайге на заимках охотничьих обитает. Возьмёт Кирилл Афанасьевич отца в ученики и помощники. А Семён в их отсутствие будет за хозяйством присматривать: у Кирилла Афанасьевича своих детей – шесть душ, да все, почитай, – девки. Единственный и уже взрослый сын Пётр той зимой остался на далёком Морбоне: стеречь и починять промысловое становище.

Конечно, не тягаться Семёну в ловкости и умениях со старшими троюродными сёстрами, но всё едино – мужик в доме.

Маму с Дашей поселили у тётки Лизаветы и дяди Федота Куприяновича. Опять же, подмога хозяевам: ткала тётка Лизавета на продажу льняные полотна. А Фёдора к тётке Прасковье отправили. Кроме старшей Анастасии росли у тётушки Прасковьи дочь Степанида и сын Павлушка, оба почти Фединога возраста. Где два, там и третий не в тягость, да и веселей. А к маме с Дашкой и Семёну хоть каждый день бегай (так и случилось), да и заночевать можно.

Закружилась-покатилась у Ходовых новая жизнь. И хотя поначалу было в ней много труда и неудобств, чаще улыбалась мама, чаще заливалась смехом Дашка-дурашка, весело и задорно блестели глаза у отца. А Фёдор, как в глубокую воду, сразу и с головой, нырнул в новые знакомства и новые, необследованные места, в нехитрые ребячьи заботы и радостные захватывающие игры.

Вспыхнула и погасла, укрытая снегами, осень. Одедось Бугролесье в белую зимнюю шубу. Зима-зимушка. Слышь, как трещит стволами деревьев звёздной студёной ночью сердитый мороз?! И как хорошо, забравшись со Степанидой и Павлушкой на необъятную русскую печь, притаившись и сверкая глазами, слушать дивные сказки тётки Прасковьи. Как хорошо засыпается под тихие грустные песни, что поют тётушка и старшая её дочь Анастасия за пряжей.

А сколько захватывающего восторга мчаться на салазках со Светлой Горки! Как здорово строить снежные стенки

и пуляться снежками! А у Фёдора, ко всему, оказался дар стоять на лыжах. Наравне со старшими ребятами лихо скачивался он с крутых склонов, выскакивал на другой берег Жур-реки и, подняв облако снежной пыли, разворачивался. Старшие ребята только добродушно посмеивались: «Ты, Фёдор, неваляшка. И не скажешь, что пришлый: точно наш, клешемский».

И никто не жадничал ни санок, ни лыж. К следующей зиме отец смастерил Ходовым собственные «снежные приспособы», а пока, с радостью и благодарностью, пользовался Фёдор чужим снаряжением...

Помнилось, как перед Рождеством ездили на дровнях с отцом и Кирилл Афанасьевичем на покос – вывозить сено. Как волшебным, по-сказочному открывался зимний лес за каждым новым поворотом. Как, спустя неделю после этого, шумной ватагой во главе с Семёном ходили в сторону Тёмных Бугров за ёлками к Празднику...

Помнил замирание сердца на первой в Клешее службе в летней ещё церкви. Высоту недостижимую купола, торжественность и необычайные, тёплые и светлые «небеса» – так называлась дивная роспись шатрового потолка...

Отец в ту зиму надолго уходил с Кирилл Афанасьевичем в тайгу: ставили хитрые силки-капканы на куниц и соболей, охотились на дичь. Появляясь на несколько дней в Клешее,

отец вскидывал Фёдора на руки, крепко обнимал: «Здоров, Федька-медведька! Вот тебе лисичка из лесу гостинец прислала», – и доставал самодельный медовый леденец.

Или любил, посадив Фёдора на колени, вести «серьёзный» разговор: «Вот, скажи мне, брат Фёдор Иванович, какой зверь в тайге самый опасный?» Фёдор косился на отца, затем на Кирилла Афанасьевича, который, прицепив к прилолке в зимней избе рыболовную сеть, латал в ней дыры и одновременно грел у жаркой печи побаливающую спину – то и дело мелькала в его крупных ладонях проворная шуйка².

– Ну... – Фёдор чуял какой-то подвох, – Медведь?

– Медведь? Да – медведь самый сильный и самый большой. Но потапыч старается с людьми в мире жить, всю зиму в берлоге дрыхнет, опасен разве что подранок или шатун.

– Волки, тогда?

– Волки?.. Стая волчья голодная – враг беспощадный, – подал голос от печи Кирилл Афанасьевич. – Так, Слава Богу, у нас им не житьё. Снег глубокий. По такому снегу волкам ни зайца, ни лося, ни оленя не взять. Вот и бывают волки здесь лишь изредка, набегами в плохую осень.

– Ну... – Фёдор посмотрел на стену, где до поры, пока не стала шапкой или ещё чем-нибудь, висела звериная шкура. – Может, тогда она – рысь?

– Хм... – Кирилл Афанасьевич озорно сверкнул глазами и, пряча улыбку в бороду, склонился над сетью.

² Шуйка – игла (челнок) для вязания и починки рыболовных сетей.

– Рысь, Фёдор, зверь хитрый. И по деревьям ловко лазает, и в засаде подолгу сидит. Но всё-таки мелковата она против нашего брата. Вон Кирилл Афанасьевич по молодости на медведя с рогатиной ходил, куда там – рысь!

Фёдор удивлённо хлопал глазами, тайна сгущалась, и становилось чуть-чуть жутковато. Но было это чувство даже приятным и завораживающим.

– А самая опасная, особенно в зимнюю пору... – Фёдор замер и даже перестал дышать, – самая опасная – РОСОМАХА!

Отец говорил негромко, но от этого нового слова пахнуло тревогой. Глаза у Фёдора округлились, и он весь невольно сжался. Отец засмеялся, притянул его покрепче к себе и, поудобнее усадив на колене, взлохматил вихры:

– Да, Фёдор Иванович, есть такой неприятный зверь. Сильный, почти как медведь, безжалостный, как волчья стая, хитрый и ловкий, как рысь. Коварный и жестокий. И вид такой же имеет: то ли медведь, то ли рысь хвостатая. Только крупные они редко встречаются.

Дядя Кирилл Афанасьевич выпрямился на своём стульчике у печи, посмотрел на отца, потом на Фёдора. Потом привстал и задрал край рубахи: на его крепком теле, с правой стороны, на рёбрах, белели три косых полосы – старые шрамы:

– Вот, как-то повстречались с этим зверем. Пометил он меня.

Фёдор почувствовал, как взъерошенные отцом волосы начинают шевелиться сами по себе. Кирилл Афанасьевич сел, снова взялся за сеть и продолжил:

– Лет пятнадцать тому было. Ушли мы со Степаном Звонарёвым по перволёдку на дальнюю заимку, что за Великим Мхом на Тёплых буграх. Вроде как, тот год олень по Продувному поясу должен был раньше идти. Но приморозило ещё не накрепко и, когда через Рой-реку перебирались, Степан провалился. Я пока его вытаскивал, тоже весь вымок. Там до избы вёрст пять оставалось, снегу немного, так что и ничего страшного, значит. Но, как выбрались от реки на угорда в сухое переоделись, что-то тревожно мне сделалось. Степан посмеивается знай: «Что, Кирилл Афанасьевич, иордань осенняя не впрок пошла. Грехи старые душу свербят?» Да и собака наша, Рыжий, ничего не чувствует. А я иду и всё по сторонам озираюсь да оглядываюсь. Спокойно вроде вокруг, но будто следит кто за нами.

Добрались до избы, значит, печь стопили, обогрелись, повечеряли. А устали с дороги, и так нас разморило после купели ледяной, что уснули быстро и накрепко. Пробудились впотьмах, под утро: Рыжий лай поднял, да так изводится, точно медведя «держит». Пока мы копошились спросонья – Степан кресалом щёлкал, свечу зажигал – чувствую, на голову и за шиворот сыпется песок и опилки. Рыжий на стены кидается, значит. Ничего понять не могу. Тут сверху заскрипело, пахнуло холодом, и большая чёрная тень свалилась на ме-

ня с потолка. Ух, не ожидал я такого колена: опрокинулся от удара на топчан, а в лицо пасть зубастая тяжёлым злово-нием дышит. Ну, думаю, выручай, святитель Николай, душу грешную! Нож в изголовье топчана нащупал и что было сил саданул зверюге под лопатку. А тут и Степан подоспел, топором ей в ошеину приложился, и Рыжий навалился – рычание, крик, лай! Всё-таки скинули тушу с меня, добили. Встал, чувствую: весь правый бок мокрый, и рубаха лохмотьями висит – зацепила, значит, пометила!

Кирилл Афанасьевич опять выпрямился и погладил через рубаху рёбра:

– Так, вот! Шла она за нами от Рой-реки – наутро Степан ходил, следы смотрел. Дождалась на дереве, пока мы утомимся, уснём. Забралась на чердак и давай потихоньку потолок раскапывать, а затем и брёвна раскатила. Сверху хотела взять, значит. Да не тут-то было, Бог миловал! Правда, до сих пор в толк не возьму, как её Рыжий раньше не услышал... – Кирилл Афанасьевич пристально глянул на Фёдора, улыбнулся: – Ты, чего оробел совсем? Не бойсь. Зверь силой, коварством и хитростью берёт, – а человек разумом. И ни один зверь супротив разума человеческого не устоит!

А росомаха... отец твой верно говорит, – такая дюжая, как та – редкость большая даже для наших глухих мест. Обычно-то она как шкодливая куница, чуть покрупней только: то мясо с капканов стащит, то лабаз разорит. Пакостит изрядно, вот и приходится её убирать...

А в какой-то раз пришли отец с Кирилл Афанасьевичем под завязку нагруженные лосиным мясом. Потом два дня парили в чугунках и горшках большие сочные куски, жарили, тушили и солили впрок. «Сохатого били!» И представлялось Фёдору, как отец и Кирилл Афанасьевич с тяжёлыми еловыми дубинами наперевес гонятся на лыжах по зимней тайге за огромным длинноногим лосем и, догнав, раздают ему увесистые тумаки. И лось, устав от погони, скидывает часть своего мяса и налегке убегает в чашу...

А потом было Рождество и Святочная седмица. Пирог и прочая вкусная снедь. Высокая луна над Великим Мхом, звон колоколов, весёлый смех. Хождения по гостям и колядки шумные с клешемской ребятнёй. Волшебное и загадочное время...

4

Память накатывала упруго и прихотливо. Подчиняясь неведомой закономерности, всплывали разрозненные события, неожиданно отчётливо, как наяву, вспоминались случайные детали, звуки, запахи. Иногда, устав от такой чехарды, Фёдор брал память за загривок и хорошенько встряхивал. Путаница прекращалась, и какое-то время всё шло своим чередом. Но вскоре, в душной полудрёме глубокой ночи, нить ускользала, терялась, и память – петляя и прыгая – продолжала вить причудливую канитель...

...На белых широких плахах половых досок затейливо переливались блики. В большой русской печи уютно потрескивали длинные поленья, по ним вилоьсь жёлтое пламя, и, вторя ему, на полу перед печью играли отсветы. Туда же через крайнее окошко горницы падал косоь луч яркого осеннего солнышка. И он тоже двигался: молодая берёзка с последним не облетевшим листом полоскала голые ветки как раз за этим окошком.

Фёдор сидел на треногом табурете возле стола, смотрел на весёлую кутерьму света на половицах и «старался не ёрзать». За его спиной на столе был расстелен широкий отрез льняной ткани, а вокруг Фёдора с куском тонкого шнура-отмерка в руках ходила мама. Тётка Прасковья сидела сбоку

и время от времени подавала советы:

– Ты, касатка, от ворота с запасом бери, на вырост, и на загиб оставь... Федя, подними руку. Вот. И по спине так же...

Мама тихонько улыбалась и послушно следовала советам.

Через пару дней отрез обещал превратиться в новую рубаху. Поэтому Фёдор старался изо всех сил, пытаясь не замечать, как в проёме бокового, запечного отруба горницы «ненароком» всплывала хитрющая личность Павлушки и корчила уморительные рожицы.

Первая осень в Клешеем стыла на самом излёте. Уже появились ледяные забереги на Жур-реке, уже не таял на пожухших травах колючий иней, уже приготовил к зиме, вымел начисто пронзительный ветер-сиверко и всё Бугролесье, и далёкую тревожную синь неба над ним.

Фёдор краем глаза опять уловил движение в проёме. На этот раз из «запечного царства» выглянула соломенная кукла, а следом выскочил лоскутный заяц. Рассевшись по рукам у Павлушки, они стали увлечённо вести беззвучную беседу. Похоже, заяц решил поехидничать над заплутавшей куклой, а та готова вот-вот разрыдаться. Пытаясь лучше вникнуть в происходящее, Фёдор не удержался и чуть повернул голову в их сторону. Увидев столь явное внимание, герои с удвоенным жаром продолжили спор. И вдруг замерли.

Всё же к вниманию трёх пар глаз они оказались не готовы.

– Так-так, братец-скоморох, – тётка Прасковья упёрла ру-

ку в бок. – Памятуй, что и скоморох ину пору плачет!

Братец-скоморох возвёл очи горе, но не выдержал и рассыпался звонким заразительным смехом. Фёдор прыснул в ответ, заулыбались и мама с тётушкой.

– Ладно, Павлуха-краюха, ступай к сёстрам, скажи на стол собирать.

Кукла и заяц поклонились и поплыли к дверям в сени – обед готовился в другой части дома. Но дверь отворилась сама, и из полумрака сеней, пригнувшись, в горницу вошёл клешемский священник отец Савелий:

– Здравствуйте, православные!

Голос у отца Савелия густой и низкий. Даже сейчас, когда он был дан в малую свою силу, показалось, что по горнице прокатилась волна воздуха. Батюшка снял с головы скуфью³ и трижды перекрестился на образа. Выглядел священник внушительно: высок, под самую матицу⁴ горницы, широк в плечах и полон во всём остальном теле. Уже лет шесть, как отцу Савелию минуло пятьдесят, но до сих пор огромная сила мерно дышала в его неторопливых движениях.

– Здравствуй, батюшка! – поднявшись навстречу гостю, поклонилась тётка Прасковья. – Проходи. Милости просим к нам.

³ Скуфья – принадлежность повседневного одеяния священников (духовенства и монашества) – головной убор в виде небольшой пирамидальной шапочки черного или фиолетового цвета.

⁴ Матица – балка, продольное несущее бревно, поддерживающее потолок.

Мама тоже поклонилась, собрала отрез, сунула его Фёдорову в руки и мягко сняла сына с табурета. Фёдор, до сих пор нечасто встречавший отца Савелия, робел в его присутствии. Но сейчас весёлое настроение ещё не успело выветриться, да и Павлушка нисколько не тушевался. Он отступил к Фёдору, и они хором отвесили поклон:

– Здрав-ствуй-те!

Священник широко улыбнулся.

– Добрый гость к обеду! Проходи, отец Савелий, присаживайся. А вы, ребята, пойдите к сёстрам, передайте: гость у нас – пусть здесь на стол соберут.

Тётушка была по-настоящему рада, но, видно, думалось ей, что отец Савелий пришёл с каким-то делом.

По исконной клешемской традиции отец Савелий, помимо церковной жизни, охотно, с толком и по любви решал многие мирские заботы своих прихожан.хлопотное дело обустройства деревенской жизни в Клешеме справлял батюшка играючи, даже с каким-то азартом. И хотя почти всегда в его тёмных глазах искрилась лёгкая ирония, а в широкой окладистой бороде пряталась улыбка, быстрые решения его на поверку оказывались верными и своевременными. Батюшку Савелия в Клешеме любили. А под черной рясой, не снимая, носил отец Савелий флотскую тельняшку, и в могучей его груди жила широкая морская душа отставного канонира⁵ Южного, Его Императорского Величества,

⁵ Канонир – чин рядового артиллерии армии и флота в Российской империи

Флота.

Был батюшка Савелий Никодимович Зотов человеком местным, клешемским. Старики помнили его ещё смышлёным весёлым мальчишкой. Но, двадцати годов отроду, угодил Савелий Зотов под императорский рекрутский набор.

Уездное и даже высокое губернское начальство народ клешемский давно на примете держало – отличались клешемские смекалкой, здоровьем и грамоту знали. Ходила по уездам добрая слава о клешемских мастерах.

Вот и на Савелия Зотова в губернском разрядном департаменте посмотрели с пристрастием, опросили по полной форме и, «грамотность достойну, здоровье надлежащее и ума подвижность юноши сего» засвидетельствовав, определили на «Его, Императорского Величества, Южный Флот». И ждала Савелия долгая дорога через всю империю к южным морским границам...

Вернулся Савелий Зотов только через два десятка лет. Просоленный океанскими ветрами и пропахший порохом, не раз ходивший под смертью, с ромбом Среднего Ордена на мундире и большущим осколком в правом бедре. Отказались доктора удалять осколок – побоялись повредить артерию. Списали Савелия досрочно, а за подвиги ратные «Высшим соизволением» был произведён канонир Зотов в чин боцмана Императорского Флота, и был назначен ему «ма-

льный пожизненный пенсион». Так что появился Савелий Зотов в Клешее хоть и хромым, но в новеньком парадном мундире и ещё полный сил.

Родители у Савелия три года тому отошли в мир иной, старшие братья с семьями подались в уездный город, а в Клешее осталась младшая сестра Варюшка. Пребывала Варюшка замужем, и к тому времени бегало у неё уже двое ребятешек. Погостил Савелий у сестры, Звонарёвой в замужестве, покручинился на могилках у родителей, походил-посмотрел по Клешее и решил остаться. Да и куда ему ехать, где и кто его ждёт? К осени поправил заброшенный родительский дом и зажил под родной крышей.

Года два бытовал Савелий Никодимович в одиночестве. Часто собирались в его большом полупустом доме клешемские мужики и ребятешки – послушать о жизни флотской, о морях-океанах, о кораблях, штормах и дальних заморских странах, о жестоких, не на жизнь, а на смерть, морских и сухопутных баталиях. Одарил Создатель Савелия Зотова талантом рассказчика. И какая бы разношёрстная компания ни собралась, мог Савелий увлечь любую, захватывал метким словом, заставлял сочувствовать, переживать: то грустить, а то и смеяться навзрыд. Кроме того, помогал Савелий землякам советом в трудных делах, в оформлении бумаг различных, механизмы чинил. Словом, через некоторое время уважение к Савелию возросло и укрепилось небывало. Да и поделом.

Но порой накатывала на Савелия грусть-тоска, грызли душу тревожные вопросы, снился гул такелажа и бескрайнее синее море. И, похоже, не слепой случай, а Божий промысел вёл Савелия – сдружился одинокий отставной боцман со стареньким клешемским священником Андреем Ивановичем Петровым. Стал Савелий Зотов много времени проводить в клешемской церкви. Подолгу, иногда до утра, горел свет в его горнице – это в тишине и покое опустившейся на Бугролесье ночи вели они с отцом Андреем богословские беседы. Батюшка Андрей Иванович, видимо, уже чувствовал свой срок, готовил уже и себя, и смену себе.

Так повелось, что в Клешему не скоро и священника подыщешь при надобности – дикими, глухими и странными считались эти места. Похлопотал отец Андрей за Савелия загодя – заручился поддержкой у священноначалия городского. А когда слёг на смертном одре, взял с Савелия Никодимовича Зотова обещание принять сан и попечительство над клешемским приходом. С тем и отошёл.

Савелий Никодимович Зотов слово держал крепко – уложил невыношенный парадный мундир с позолоченным ромбиком боевого ордена на обшлаге в сундук и поступил, как это полагалось, в архиерейские классы при монастыре.

Через полгода послушания и учёбы в окрестностях большого губернского города сошёлся Савелий Никодимович с бездетной вдовой и взял её в жёны. Пару раз приезжал отставной боцман с молодой супружницей на побывку в Кле-

шему – показать родные края, с родственниками познакомиться. А вскоре, с Божьей помощью, у них и детки пошли.

А ещё через год Савелия Никодимовича рукоположили в диаконы и благословили на службу в родной деревне. Народ клешемский только перекрестился: «Слава Тебе, Пресвятой Боже!» – лучшего батюшки и пожелать нельзя.

Горячо молился отец Савелий, служил Богу не за страх, а за совесть, с рвением и трепетом постигал духовные глубины. Но нет-нет да приснятся белые тугие паруса, и почувдится, будто свежий зюйд-ост положил свои влажные ладони на широкую грудь канонира Зотова...

– Погоди, Прасковья Степановна, – отец Савелий по-прежнему стоял в дверях. – Спаси Бог за приглашение, да я ненадолго.

Он вновь повернулся к Павлушке с Фёдором:

– Пора, я думаю, ребятам вашим за обучение браться. И Азбуке, и Слову Божию. И устройству мира нашего, и прочему. Вот Павлушу с Фёдором вижу, а где же Степанида-краса?

Тетка Прасковья опять села у стола и сложила руки:

– В зимовке, знамо, сёстре помогает – исть варили. А не рано ли им, батюшка?

В глазах священника блеснули иронические огоньки:

– Рано снарядились, да поздно в путь пустились, – отец Савелий ещё раз улыбнулся. – В аккурат будет. Моря веслом

не расплещешь. Верно, Фёдор?

Фёдор растерялся, слишком огромным и каким-то непривычным был отец Савелий. Но запрокинув голову и глядя в большие тёмно-карие глаза этого человека, Фёдор не почувствовал ни насмешки, ни высокомерия. По-хорошему, на равных и как-то тепло смотрели эти глаза. Фёдор кивнул.

– По сему, Прасковья Степановна, распорядок такой: буду ждать к себе домой малых сих по полудню во вторник и в пятницу. А в воскресенье после службы – в Храме. Ну, Храни Бог!..

...В горнице отца Савелия на стене висела большая карта полушарий.

– Павлуш, а там что? – спрашивал Фёдор, уже хихикая про себя.

– Так, шарубариев карта, – отвечал Павлуша.

Фёдор со Степанидой заливались в рукава тихим смехом, а Павлушка дул губы: ему никак не давалось новое слово.

– По-лу-ша-рий карта, тётя-мотя ты пернатая, – сквозь смех учила брата Стёпка.

Но когда появлялся священник, ребята успокаивались...

Сопя от усердия, вместе с остальными выводили они мелкими витиеватыми «АЗЫ», «БУКИ» и «ВЕДИ» на полированных тёмных дощечках. Хором твердили слова молитв, открыв рты, узнавали, что «мать-сыра-земля наша есть шар», что «ветра морские погоду определяют, как на море, так

и на суше-материке». А ещё, очень нравилось им постигать «хитрую науку» – вязать морские узлы...

Учиться оказалось несколько не трудно: все быстро приловчились складывать слоги в слова и считать специальные тонкие палочки. Даже интересно, словно какое-то волшебство творится, когда цепочка нестройных, написанных мелом букв-закорючек вдруг превращается в знакомое слово! И особенно манил, притягивал к себе дом отца Савелия – необычная, таинственная обстановка царила в нём, казалось, всё так и дышит приключениями и дальними странствиями.

В доме отставного боцмана хранилось много загадочных и непривычных заморских вещей: изящные металлические весы-качельки, которыми отец Савелий отмерял заряды дроби и пороху; пузатая бутылка тёмно-зелёного стекла с тонким горлышком и красочной этикеткой, где, как в маленьком волшебном окошке, открывался вид на далёкий песчаный пляж под жарким, нездешним солнцем; выгнутый полумесяцем длинный и узкий «сарацинский» кинжал с вязью узора на лезвии и причудливой рукоятью; слегка изогнутая, надраенная до солнечного сияния, с шариком—набалдашником на конце и прочной цепочкой боцманская дудка-свисток...

А в дальнем углу горницы возвышался громоздкий, доверху заваленный книгами, самодельный стол-бюро. Книги стояли рядами и лежали стопками, толстые и тоненькие, новые и совсем древние. И не только церковные. Имелся там

и «Морской Устав», и совсем непонятный, но с красивыми картинками разноцветных флажков английской «Свод Сигналов»... А над столом, на небольшой ажурной полке, летел неведомо куда под льняными парусами маленький галеон, а рядом поблёскивал медью настоящий секстант⁶...

⁶ Секстант – угловой навигационный измерительный инструмент, используемый для определения географических координат места нахождения.

Следом на поверхность памяти выскользнула первая клешемская весна.

...Большая куча щепы и опилка благоухала недалеко от Фёдора свежей сосновой смолой. Вокруг на разный манер стучали топоры, хрустели острыми зубьями пилы, шелестели стружкой рубанки. Щепу огромной берестяной корзиной таскал из дома Семён. А Фёдору и Павлушке было поручено другое ответственное дело – специальными деревянными скребками они очищали широкие жёлтые кирпичи от старого раствора. Иногда глиняный раствор не поддавался скребку, и приходилось брать кирочку – особый молоток для кладки печей – и уже им отбивать непослушные куски. Занятие в общем не тяжёлое, но однообразное, и в перерывах, которые становились всё длиннее, Фёдор с Павлушкой вытаскивали из кучи щепку побольше и придумывали, какой из неё можно вырезать кораблик. Или начинали «пулять» друг в друга мелкими камешками сухого раствора. Однако когда из дома появлялся Семён, приходилось опять браться за работу. Несмотря на это, настроение оставалось хорошим.

Человек двадцать клешемских мужиков бойко крутились около дома. Кто-то зарубал пазы и углы на ошкуренных сосновых брёвнах, что были раскатаны на широком дворе. Кто-то расклинивал сруб и удалял из него прогнившее бревно,

кто-то сидел наверху, среди оголившихся стропильных рёбер крыши. Работа ладилась споро и задорно. Мужики то и дело перебрасывались шутками и посмеивались друг над другом...

Родители Фёдора ещё до Пасхи выбрали из двух пустовавших домов один. Остановились на том, что поменьше – он лучше сохранился и стоял ближе к Жур-реке. Штабель отборной сосны, которую заготовили и вывезли с Тёплых Бугров ещё зимой, ждал своего часа за поветью на заднем дворе.

Ходовы навевались к выбранному дому, прикидывали и примерялись, с чего начать. Дом был старый и лет пять уже стоял без хозяев. Во влажных сенях томился спёртый прокисший воздух. Неуютно пахнуло на Фёдора заброшенностью и остатками чужой неизвестной жизни: лопнувшая лавка и скособоченный стол в горнице, ветошь по углам, черепки битой посуды и развалившееся устье печи в зимней избе.

Потрудиться над восстановлением дома предстояло порядком. Главная удача заключалась в том, что сохранились, оказались совершенно не тронуты тлением три нижних, окладных, венца. Они по клешемской традиции были срублены из долговечной лиственницы. А вот крышу, стропила, печи и почти всю хозяйственную половину следовало основательно ремонтировать.

Решили, как и полагается, «плясать от печки». Их две,

и обе нужно разобрать по кирпичику, кирпич вынести во двор, очистить. И уже после этого из очищенных пористых красавцев сложить печи заново. Отец и Семён, чумазые, в пыли и саже несколько дней возились с разборкой. Пыль в избе стояла густой завесой, выныривая из этого тумана, они несли кирпичи в дальний угол двора, складывали тремя рядами на приготовленные старые доски. Получалась сплошная кирпичная стенка в пол сажени высотой. Фёдор и Павлушка брали сверху по одному кирпичу и обречённо шоркали их скребками. Мама с Дашкой собирали по повети и чердаку разный хлам и стаскивали его на огород за домом, чтобы потом сжечь. Дела хватало всем.

А вчера, в конце воскресной службы, стоя на амвоне⁷ и уже заканчивая проповедь батюшка Савелий сделал паузу, окинул паству взглядом и продолжил своим густым басом:

– ...Ну что, православные! Общее дело литургии святой мы с вами справили. Должно нам и в мирской жизни поступать по совести и творить дела добрые. Вот Ивану Ходову дом подновить требуется. Так что завтра, кто срочными делами не обременён – добро пожаловать. Куда идти, все знают. С Богом!

Народ одобрительно зашумел и стал расходиться. Фёдор посмотрел на отца и понял, что тот и смутился и обрадовался одновременно. Даже как будто слегка покраснел.

⁷ Амвон – возвышенная площадка в церкви перед иконостасом.

И вот сегодня утром отец, дядя Кирилл Афанасьевич, Семён и Фёдор сидели на одном из брёвен возле дома и наблюдали, как собирается народ. Точнее, мужская его половина. Мужики шли с топорами, несли пилы, тёсла⁸, напарьи⁹ и прочий плотницкий инструмент.

Кирилл Афанасьевич и отец поднимались навстречу и здоровались с каждым за руку. Вскоре чуть в стороне от них, образовалась небольшая задорная и шумная толпа. Там оживлённо о чём-то беседовали, посматривали на дом, показывали руками то на крышу, то на стены, и, кажется, чего-то ждали.

Отец вопросительно глянул на Кирилла Афанасьевича. Тот усмехнулся:

– Погодь, сейчас Емельян Петрович подойдёт. Да, кажись, вот и он.

С «верхнего» конца Клешемы по улице к ним бодро шагал невысокий коренастый мужичок лет шестидесяти. Сдвинутый на затылок картуз, взъерошенные светлые волосы, торчащая клочьями в разные стороны куцая борода, нос сапожком, загорелое, изрезанное сетью «улыбчивых» морщин лицо. И сверкающие небом голубые глаза – молодые и весёлые.

– Здравова, Кирилл Афанасьевич! – крикнул он ещё изда-

⁸ Тёсло – плотницкий инструмент, особый топор, лезвие которого имеет полукруглую форму и расположено перпендикулярно топорщику. Использовалось для рубки на бревне продольных пазов.

⁹ Напарье – инструмент для высверливания отверстий в дереве, винтовой или ложечный бурав.

лека.

– Утро доброе, Емельян Петрович!

Емельян Петрович подошёл ближе, пожал руки отцу и дядюшке. Глянул в сторону мужиков:

– Здорова живём, работнички!

Мужики нестройно загудели в ответ. Емельян Петрович прищурился и призывно махнул рукой:

– Мишка, Сашка!

Повинуясь отцу, из толпы друг за другом вынырнули два дюжих молодца. Емельян Петрович вытащил из-за пояса небольшой ловкий топор, попробовал пальцем лезвие – острое ли – щёлкнул по нему. Лезвие в ответ тонко зазвенело. Он поднёс топор к уху, некоторое время послушал, подмигнул отцу:

– Ну что, хозяин, пойдём, посмотрим, что там у нас.

Довольно долго Емельян Петрович (на подхвате с отцом, Кирилл Афанасьевичем и двумя сыновьями) обследовал дом. Казалось, он ощупал каждое бревно: то постукивал по ним обухом своего топорика, то делал затёски, тщательно изучил окладные венцы, возился в подклети, затем велел поднять «чистый» пол в горнице и смотрел там, шуршал и кряхтел сначала на чердаке, а затем залез и на крышу. Наконец, он закончил и спустился вниз.

– Ну, картинка такая нарисовалась...

Емельян Петрович Рябов был плотником от Бога. Несть

числа избам, амбарам, баням, что вышли из-под его топора. Хорошая слава об искусном мастере ходила далеко за пределами Клешемы. Емельяна Петровича сотоварищи приглашали ставить дома, возводить и обновлять храмы. Последнее время сам он почти не рубил, больше расчерчивал и прикидывал углы, сложные сочленения и общую «хонструхию». Так и теперь: разбив мужиков на группы и определив каждой группе работу, Емельян Петрович ходил между ними и поглядывал, как и что делается. По необходимости он снимал замеры, размечал линии рубки, подсказывал, где и как удобней подступиться. От его острого наметанного глаза не ускользал ни один недочёт. То тут, то там раздавался высокий, с хрипотцой голос:

– Ага, смотри, тот край выше увёл. Чутокними – и порядок. А то плотно не сядет. А ты, Сергей, здесь аккуратнее! Против «шерсти», в задир, не бери. По волокну прикидывай – не сколи лишку. Вон, лучше стамеску возьми...

Только изредка, в самых ответственных случаях, вытаскивал Емельян Петрович из-за пояса свой топор и в несколько точных и выверенных ударов затёсывал «хитрые» места. Мужики лишь пожимали плечами:

– Силён же ты, Петрович! Мастер!

Петрович таял в широкой улыбке и хихикал:

– Чтобы рубить метко, нужна сметка. Кумекать надобно «шариком», а не токмо шапку носить...

Через три дня дом был готов. Белел новеньким крыльцом

и полосами свежих брёвен в сером срубе. Заново проструганные полы и внутренние стены светились. До этого просевшая над повестью крыша распрямила хребет и блестела на солнце сырым ещё осиновым тёсом. Торжественно и гулко разлетался звук шагов по пустым, свежим и опрятным клетям и горнице. Стал дом помолодевшим, заново родившимся. Весёлый задор строителей как будто передался дому, и он, вобрав в свои стены смех, голоса и удары топоров, словно весь напружинился, налился энергией и беззвучно радостно звенел.

Оставалось только печи сложить.

Доля очищенного кирпича, к стыду Фёдора и Павлуши, оказалась невелика. На подмогу пришли Семён и мама с Дашей. А отец с Кирилл Афанасьевичем тем временем занялись приготовлением раствора: предстояло привезти глины и песка, глину замочить на несколько дней и только после этого смешивать песок и глиняную няшу в неглубокой вырытой у дома яме. Песок и глина тоже не всякие годились. За тем и другим ездили на телеге в надёжные разведанные места, версты за две от Клешемы.

Когда почти всё было готово к кладке печей, наведался к ним в гости с «проверкой» отец Савелий. Походил по дому, придиричиво осмотрел, потрогал новые венцы своими большими ладонями: «Вот и славно». Потом, уже на улице, когда Ходовы вышли проводить батюшку, священник положил руку отцу на плечо:

– Да, Иван Фёдорович, с печами голову не ломай. Завтра придёт к вам Захар Петров – будет класть. Вы у него на подхватите. А там он скажет, что и как.

– Так, батюшка, – отец растерялся, – печи я и сам могу. Осилим.

Священник привычно чуть улыбнулся:

– Осилите, Иван, не спорю. Но Захар, почитай, всей Кле- шеме печи клал, такого печника ещё поискать! Да и долж- но ему – епитимья¹⁰ такого рода назначена, греховоднику. Так что будут у вас печи форменные, по образу и подобию. Но чтоб ни пива, ни медовухи Захару – ни-ни!

Отец посмотрел на маму, снова на священника, чуть по- молчал и махнул рукой:

– А, ладно.

– Вот и славно! – батюшка Савелий отошёл на шаг и ши- роко перекрестил Ходовых. – Храни Бог!..

Захар Петров оказался высоким, сухим и мрачным. Зыр- кал исподлобья и почти не разговаривал: подай то, принеси это. Во всяком случае, сначала. А на одном из перерывов в работе Захар взял и рассказал такую бывальщину, что все за животики похватались. Даже мама засмеялась, отвернув-

¹⁰ Епитимья (от греч. epitimiön – наказание), нравственно-исправительная ме- ра, а также наказание или возмездие за «грехи» в православной и католической церквях. Э. налагается духовным лицом, церковным учреждением или добро- вольно исполняется верующими. Формы Э. – длительная молитва, раздача ми- лостыни нищим, пост, паломничество, исполнение трудовой повинности.

шись и прикрываясь платком. Но на «дымовое», когда последний кирпич лег на своё место в трубе, а в обеих печках загудела тяга, и затрещали поленья, мама к столу с угощением вынесла кувшин брусничного морса:

– Извини, Захар, сам знаешь...

Перед Троицей Ходовы заселялись в отремонтированный дом. Собралась почти вся Клешема: батюшка Савелий торжественно освятил жильё и поблагодарил народ за доброе дело. Во дворе сколотили длинные дощатые столы, накрыли чем Бог послал и угощали работников и прочих желающих: спасибо тётушке Прасковье и её дочери Анастасии – помогли маме у печи справиться.

И вот он, свой дом! Непривычный, ещё не обжитой, но долгожданный и уже полюбившийся. Светлый и чистый. Легко дышится в нём и сладко спится! И каждое утро как праздник – вскакиваешь и бежишь навстречу новому дню, навстречу новым добрым событиям, навстречу лету! И так здорово пахнет свежетёсанными сосновыми брёвнами и не до конца просохшей печью: смесь терпкого запаха липкой смолы и сохнувших белил. И все рядом: мама с отцом и Семён с Дашкой. А за окнами блестит Жур-река и стоит красивая, ладная деревня Клешема...

А впереди росло, ждало и манило первое клешемское лето, по-настоящему счастливое и радостное...

6

...Ниже Клешемы, в раздольной луговой пойме, поросшей ивою, черёмухой и рябиной, где быстрая вода Жур-реки смиряла свой бег, поблёскивали рукава нескольких старых русел – «стариц». Отделялись старицы от основного течения широкими песчаными перемычками, которые буйно ерошились кустами дикой смородины и малины. Бог весть в какие года то ли обрушился подмытый берег, то ли нанесло бурным половодьем перекатного грунта, то ли ещё как – но оказались куски реки отрезанными от проточной воды. Только по весне и в очень дождливую осень заливала их поднявшаяся Жур.

Ближняя к Клешеме старица, что лежала на том же берегу, чуть дальше и правее бревенчатого моста через реку, называлась Осиновой. Была она мелководной, едва в рост взрослого человека в самом глубоком месте, с пологим песчаным дном, с нависшими плакучими ивами и черёмухой.

Вода в старице прогревалась быстро, и Осиновая до самой середины лета, пока не начинала «цвести», становилась любимым местом купания у клешемских пострелят.

Ещё до Троицы, если весна выдавалась ранней и приветливой, начинала собираться по вечерам шумная ребячья вахта на нешироком открытом участке берега. С гамом, визгом и смехом баламутили стоячую тёплую воду и жгли яркие

костры в поздних и зыбких сумерках белых ночей.

Девчонки сюда не ходили, они купались на другом, таком же, рукаве-старице, которая так и называлась – Девкина.

Семён в то лето часто брал Фёдора и Павлушку с собой на Осиновую. Благо рядом: выйдешь на дорогу к мосту, и видно – вот он дом. А вон и мама встречает бредущих с выпаса коров: в ожидании взошла по высокому взвозу на поветь, прикрывает глаза рукой от закатного солнышка и смотрит в сторону моста – где там ребята? Это значит, что пора Фёдору с Павлушкой домой. Скоро Семён, который, конечно, слышал шум возвращающегося деревенского стада, звон коровьих колокольцев, посвисты и окрики пастухов, выскочит из воды и, попрыгивая на одной ноге у костра, скажет: «Ну что, братья-пересмешники, чешите по домам. Завтра ещё сходим».

А уходить страсть как не хочется. Сейчас начинается самое интересное: темнеют заросли по берегам, сумрак плотнее обступает жёлтый языкастый костёр, высоко над макушками деревьев белеет вечернее небо, и отливают оранжевым светом далёкие Тёплые Бугры на востоке – туда ещё падают зоревые лучи закатного солнышка. Разогнав по печкам и лавкам младший народ, старшие ребята будут жарить на костре ржаные сухарики и кусочки сала, рассказывать друг другу захватывающие страшные сказы и, может, ещё разок-другой бултыхнутся в потемневшую воду Осиновой.

Но нужно идти – мама начнёт тревожиться.

Да и «живот к спине прилипать» начал. А дома ждёт распаренная в русской печи ячменная каша, с маслом и мёдом, и крынка парного, только что надоенного из-под коровы Мурашки, молока.

А потом захочется спать: загудят ноги, что отмеряли за день с десятков вёрст, отяжелеют руки, начнут слипаться глаза. Да и ладно. Завтра новый будет день. Завтра ещё столько интересных дел...

Но однажды, когда Фёдор оказался на берегу Осиновой впервые, им с Павлушкой разрешили задержаться подольше.

Ребячий табор расположился у костра широким нестройным полукругом: кто вертелся у самого огня – «сушил шкуру», кто на длинных тонких ветках поджаривал «провиант», кто, как Фёдор с Павлушкой, сидел поодаль на сухих валёжинах или прямо на песке.

К ночи с Севера задул ровный упругий ветер, и небо понемногу затянуло. Огонь ярче обычного отражался на телах и лицах багряными переливами, и отчётливей блестели из сумерек глаза. От темных зарослей, от текущей невдалеке Жур, от раскинувшейся вокруг бескрайней тайги тихо подкралась к костру Сказка.

И, хотя никто не слышал беззвучных шагов на мягких пушистых лапах, все почувствовали её приход. Разговоры и смех поутихли: лишь потрескивали дрова в огне, да иногда раздавались лёгкие шлепки – надоедливые, пусть и редкие

пока, комары вылетели на вечернюю поживу.

От костра к Павлушке с Фёдором подошёл Семён, сел рядом и протянул подкопчённую ветку с двумя ржаными сухарями. Ребята стянули их в ладошки и, аккуратно перекатывая из руки в руку, стали остужать. Сухари ароматно пахли и чуть-чуть жглись.

Семён помолчал, глядя в костёр, негромко попросил:

– Афанасий, может, расскажешь чего?

С разных сторон костра послышалось:

– Афонь, расскажи!

Афанасий, худощавый и нескладный ровесник Семёна, знал столько сказок, былин и былей, сколько не знала ни одна мамка-жонка в деревне. Был когда-то у Афанасия прадед. Сто с лишним лет прожил старик на белом свете, много повидал, много походил по миру. Но как отмерял век – занемог, исхудал и сгорбился. Вот и сидел на завалинке сухим калачом, с правнуками нянчился. Но память оставалась у старика крепкой, а мысль ясной. Тогда и перенял Афонька от прадеда, вместе с цепкой памятью, тьму-тьмущую этих сказов и былей.

И рассказывал Афанасий хорошо, интересно. Умело менял голос в нужных местах, копировал интонации, изображал повадки.

– Ну, раз просите...

Он не привередничал, пересел ближе к костру. За ним и остальные, потихоньку, чтобы не спугнуть таинственное

настроение, плотнее разместились вокруг.

Афанасий окинул всех взглядом:

– Сказ древний. Раньше его у нас по всем избам сказывали, да теперь забыли. Но мы помним. И каждый год в начале лета – этот сказ первый у костра на Осиновой старице.

Чуть слышный шёпот прошелестел по ребячьему кругу и стих: «Сказ Жур!»

– Всё вокруг нас живое! Трава ли в широком поле, ветер ли в небе раздольном, волна ли в бездонном море – всё на свой лад живёт и движется! Всё живёт, да не всякий это приметить может...

Говорил Афанасий негромко, размеренно, иногда останавливаясь. Но чем дольше он говорил, тем явственней проступал едва уловимый причудливый ритм в его словах...

«Сказ Жур»

«...Казалось бы, чего проще – оглянись, прислушайся, разгляди жизнь в былинке каждой. Но иной человек будто слеп от рождения – кроме себя ничего усмотреть не в силах. И уверен такой бедолага, что весь мир необъятный вокруг него вращается и лишь для него единого сотворён. Так горемыка в потёмках и мается...

А чтобы постичь такое простое чудо, которое здесь, рядом, всякий день около нас происходит – сердце чистое и чуткое в груди пестовать надобно!

Но это присказка, а вот вам и сказка...

Бежит наша Жур-река по груди Земли-матушки испокон седых веков.

В глубине Тёплых Бугров сплетается она из сотен ручьёв-родников в тугую косу – вьётся-скачет по перекатам, поёт звонко: голосом девичьим с миром беседует.

Ниже – блесит неспешно прозрачной водой-слезою по Тёмным Буграм – растёт-полнится среди сырых еловых лесов, взрослеет.

И уже далеко на Закате широко и зрело с морюшком роднится.

И кто видел, тот знает, что бывает река и весёлой и грустной. То плещет ласково, а то и серчает крутой волной да водой глубокой.

По установленью высшему течёт жизнь человеческая от рождения к старости – через дни-недели, месяцы и годы. У реки иначе: от истока малого – к устью, к морю, через вёрсты да пороги...

Раз в пять лет, в холода лютые, на Крещение, когда Дух Божий всю воду мира святит – очищает, дабы и впредь могла вода жизнь питать и утолять скорби, родятся в Жур-реке её детки. Каждый родник-ручеек, что впадает в Жур, отдаёт струйку малую. И бегут эти струйки со всех притоков, кто вниз, а кто и вверх, супротив течения. К нам, к Клешеме, за Светлую Горку, за Звонкие Перекаты. Собираются в Журовой заводи струйки тонкие, ждут полуночи Крещенской.

А ровно в полночь становятся они **СОВСЕМ** живыми. Превращаются струйки в прозрачных водных детишек – *жу-ров*.

Ох, и весело у них в тот миг! Рождения радость! Вьются змейками-невидимками, снуют по всей заводи до переката, смеются-хохочут. Кутерьма-карусель! Анж вода бурлит.

Потому раз в пять лет, на Крещение, полынья в заводи за Светлой Горкой открывается. Даже в самую студёную зиму.

Но, когда является к заводи Крёстный Ход и священник таинство творит – молитвы читает – детки журы утихают. Хоть и малы совсем – понимают уже!

Да недолго затишье длится. Как войдут православные в воду, так каждого малыши журы обласкают: по груди завьются, по спине соскользнут – всю хворобу, злость и нечисть снимут!

И ещё несколько дней веселятся новорожденные в Журовой заводи: знакомятся, играют, себе и Миру радуются!

Только и у журавов забот много. Спустя седмицу уходят они всем своим шумным семейством в тайное место. И то ли есть это тайное место, а то ли и нет его вовсе, но до тёплых деньков, до ледохода, много-много нужно журам малюткам узнать, многому научиться.

У любой травинки своя цель и предназначение в мире. И у журавов своё.

К лету домой, по своим притокам, в свой ручеёк вернуть-

ся следует. Присматривать за порядком водным, русло в чистоте держать, над икринками-мальками и прочей водной живностью попечительство нести. И за лесом окружающим ухаживать: уже к осени научатся молодые журы выбиратьсь на берег и ужами-невидимками в траве шуршать.

И ещё много дел и забот у журавлей – но нам и малой части из того не постичь. Мудрость великую и многие тайны нашего мира хранят журы. Много чудесного могут они, многое делают, но тихо и незаметно для людей. И сами на глаза человеку не показываются. Да и захочешь – не узришь: прозрачное, как родниковая вода, тело у журавлей. В шаге от тебя в воде ли, в траве затаится – и нет его. А плавают журы быстро, ползают ловко. Лишь изредка, чтобы Помощь или Весть донести, являются они людям. Да и то, лишь тому человеку, у которого сердце чистое и чуткое!

Так и живут журы четыре года в трудах праведных. А на пятый год, когда лето уж под горку катится, сходятся журы в глубине Великого Мха, в местах топких и непроходимых. Въёт на болоте каждый журавль себе гнёздышко-шар на вроде того, что синицы строят, и засыпает в нём на три дня. А на Спаса Яблочного, в День Преображения, просыпается в гнезде молодой журавль. Вида обычного, от других журавлей неотличимого, да во всём остальном – иной.

Собираются журы-журавли по осени в стаю и улетают.

И летят они без отдыха много дней и ночей, летят за край Земли, сквозь чёрное небо к далёким звёздам.

И когда приходит срок, по одному покидают журы клин стройный и дальше в одиночку путь держат. Ибо звезда у каждого своя!

Потому и имена их истинные – как у звёзд!»

Афанасий закончил говорить, но ещё какое-то время ребята сидели молча, задумчиво глядя в догорающий костёр. Первым подал голос Фёдор:

– Афонь, а они взаправду есть? Журы?

– Не знаю... На то он и Сказ – всю жизнь размышлять...

А после, когда возвращались в серых сумерках домой, как-то по-новому, загадочно и грустно сверкала Жур-река. И было жаль одиноко летящих в бесконечной ночи журавей.

И ещё долго не отпускала из мягких пушистых лап Сказка...

Расчертив полы горницы яркими солнечными прямоугольниками, за окнами сиял прозрачный весенний день. Сонно вздыхая и что-то еле слышно бормоча под нос, Фёдор ещё битый час ворочался в полутьме печной лежанки. Наконец усталость и напряжение последних дней взяли вверх, и, уткнувшись носом в подушку, Фёдор уснул. Подхваченный сном, раскинув руки, он летел в позапрошлом лето. Туда, где всё было надёжно и светло, где домашним уютом, теплом маминых рук и весёлым взглядом отца лучились дни. Где впереди ждала сказка и радость. И где не зияла чёрной пустотой новая беда.

Фёдор помнил всё, что случилось. Помнил до каждого дня, до каждого, наверное, шага и слова. Но изболевшаяся душа спрятала эти события глубоко на дно памяти, в глухие, самые дальние закоулки.

А было так.

Год назад, сразу после Петрова дня, заехали Ходовы всем семейством на дальний покос. Имелось у Ходовых два участка значительно ближе к дому, но сена с них на зиму не хватало. Вот и пришлось брать ещё один – дальний.

Лежал он в восьми верстах от Клешемы: первые четыре шли лесным просёлком, что петляет вверх по Жур-реке, а затем ещё четыре версты в сторону, вдоль Верег-ручья. Там,

в ручьевой пойме, среди соснового редколесья и лиственничного подроста, вблизи небольшого болота, из которого Верег-ручей брал начало, и лежало несколько заброшенных пожен.

В прошлом году их привели в порядок: обрубали настыранный осиновый молодняк по кромкам, наладили из толстых жердей мосты через ручьевину, расчистили тропинки и подновили избу-землянку. В этом году нужно было косить.

Домашнее хозяйство – двух коров и овец – оставили на тётку Прасковью.

До места добрались без приключений. Лишь однажды тележное колесо угодило мимо колеи, в болотную лужу – пришлось слезать и выталкивать.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.